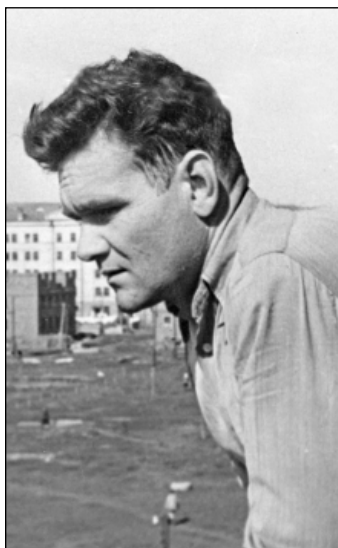


Александр ВОЛОШИН

НЮРА*



Пополнение после Днестровской операции гвардейская дивизия получала в лесах под Ковалем.

Наша маршевая рота долго шагала по ночным просёлочным дорогам, и где-то в негустом смешанном лесочке уже под самое утро объявили долговременный привал, с неторопливым перекурком, основательным подрёмыванием и перематыванием надоедливых обмоток. Я пристроил пилотку на чей-то пыльный ботинок, а на пилотку запрокинулся отяжелевшим затылком. Попробовал присмотреться к бледноватым предзвездным звёздам, захотелось отыскать Большую Медведицу, Полярную звезду и определить своё местоположение на земном шаре, но явно не успел с этим и почти мгновенно заснул. Вернула уже в ясное тихое утро короткая привычная команда:

– Подъём! Ста-новись!

Со временем у солдата вырабатывается категорический рефлекс на все такие команды: дремлет ли он, обихаживает ли своё личное оружие или кашу со всем тщанием выскребает

из котелка, а по команде «становись!» немедленно, с перевыполнением любых уставных нормативов, оказывается в строю точно на своём месте.

Окончательно развиднелось, и солдаты, мельком оглядевшись, стали узнавать друг друга: кто-то кивнул знакомому, кто-то подмигнул; может, кашу из одного котелка ели в эшелоне, махоркой ли поделились или домашние письма вслух почитали. Всё это само собой, но ведь всех сейчас до зуда под мышками интересовал один животрепещущий вопрос: куда тебя на этот раз кинет твоя солдатская судьба? Кто ты будешь с сегодняшнего дня – просто «активный штык» или «штык с каким-нибудь особым смыслом», – разведчик, допустим, или, не дай и не приведи господь, минёр!

Перед нашим разнокалиберным строем уже неторопливо идёт старший лейтенант – общевойсковой. Гвардейский значок над правым кармашком стираной аккуратненькой гимнастёрки, на левой стороне груди две серебряные медали, обе – «За отвагу». Молоденький, кажется, из самых что ни на есть молодых, а глазами быстренький, вострый, ростом средненький, лицо

* Публикуется по готовящейся к выходу книге автора «Солдатская память».

ВОЛОШИН Александр Никитич (23 августа 1912 – 28 мая 1978) Прозаик, драматург. Фронтовик, прошёл всю Великую Отечественную войну, служил сапёром. Член Союза писателей СССР с 1950 года. Родился в г. Санкт-Петербурге. В 1931 году приехал на строительство Кузнецкого металлургического завода. С 1947 года жил в Кемерове, работал над романом «Земля Кузнецкая», который был издан в 1949 году и в 1950 году был удостоен Государственной (Сталинской) премии II степени. Один из основателей Кемеровской областной писательской организации. С 1959-го по 1961 год – главный редактор альманаха «Огни Кузбасса». Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». В 1999 году учреждена областная литературная премия им. А. Н. Волошина.

обыкновенное, мальчишеское, без всякого начальственного значения.

Он медленно пошёл по фронту. Мне мимоходом кивнул: «Станьте, старшина, на правый фланг». Соседу моему так же точно кивнул: «Переидите, старший сержант, на правый фланг...» Ещё трём-четырёх такими же словами скомандовал и опять ко мне: «Товарищ старшина, два шага вперёд... Кру-гом! Вольно. Приведите строй в порядок. Докладите».

По-уставному, но с отвычки, наверное, излишне зычно привожу строй в надлежащий вид, печатаю шаг, докладываю:

– Товарищ гвардии старший лейтенант, команда пятьдесят три по вашему приказанию построена. Докладывает...

Скомандовал он «вольно», но тут же оглянулся в сторону невысоких кустиков, кого-то там высмотрел и уже сам подал звонкую такую, почти песенную команду:

– Смир-рна!.. Равнение н-на... средину!

Тотчас из-за кустов, можно сказать, не вышел, а степенно так выдвинулся грузноватый, среднего роста майор, с вислым мужичьими плечами, крупными в кистях руками. Лицо широкое, открытое, светлое, нос вздёрнутый, конопатый. Чем угодно могу поручиться, что мужики с такими носами происходят если не с Енисея, не с Оби, то никак не западнее Кулунды.

Майор остановил доклад старшего лейтенанта, спросил:

– Люди проинструктированы?

– Никак нет! – вытянулся старший лейтенант.

– Накормлены?

– Никак нет, товарищ гвардии майор... Кухня задерживается. Ночью мостик через речку прямым попаданием...

– Ха-арошо начинаем воевать, ничего не скажешь. Да вы народ по всем статьям терпеливый, понимаете, что всё обтерпится и образуется. – Он кивнул в сторону офицера: – Гвардии старший лейтенант Завьялов – пээнша-один, иначе: начальник штаба отдельного сапёрного батальона. Гвардейского. Сталинградского. Я – командир вашего батальона, майор Романов Евгений Михайлович. Кое-кто из вас, может, и посетует на судьбу, определившую отныне воевать в сапёрах, в минёрах. (Тут я не сдержался, вздохнул: твоими бы устами да мед пить, товарищ гвардии майор!) Ничем другим порадовать не могу, только замечу: всему учиться придётся на ходу, а там всё образуется. Каждый солдат

в нынешней войне по необходимости становится и сапёром, и минёром. Такая война. А теперь... мне чутьё подсказывает, что где-то на подступах к нашему расположению движется батальонная кухня. Наш повар славится наваристыми борщами. Командуйте, товарищ старший лейтенант.

До конца войны, до Берлина провоевал я в рядах гвардейского сапёрного и, не утаю, ни разу не пожалел, что солдатская судьба именно так мною распорядилась. И командира батальона, потом подполковника Романова, изучил как будто в разных ситуациях досконально, но запомнил его вот таким, как при той первой встрече: и коротко категоричным, и между слов – добродушно-внимательным. Но и за этим широкоскулым добродушием всегда, как невидимая боевая пружина на взводе, крылось что-то необъяснимо волевое, отчего тебе в любой обстановке хотелось отчеканить: «Слушаюсь, товарищ гвардии подполковник. Сделаю!»

Помню, уже на Одерском плацдарме, весной 45-го, мне случилось сопровождать командира батальона с паромной переправы к передовому краю, за населённым пунктом Рейтвейн.

Вышли ранним слякотным утром. Передний край глухо молчал, будто сама война притомилась от многодневной мартовской мокрогопогодицы.

Третьей у нас спутницей оказалась как есть девчоночка-девчонка – тоненькая, малорослая, в коротеньком ватничке – санинструктор одного из артдивизионов. Это так она сама доложила подполковнику и попросила разрешения присоединиться к нам, когда мы уже карабкались с парома на прибрежную дамбу. Подполковник что-то разрешающе гугукнул.

– Втроём всё веселее, особо по такой плаксивой погодушке, – словоохотливо начала санинструктор уральской скороговорочкой.

А потом и понесла, и понесла, будто годами ни с кем не разговаривала. Вскорости нам стало известно, чем знаменит на всю Россию её родимый Невьянский завод, запомнилось, что девятилетку она закончила – ни два ни полтора, а курсы санинструкторов – одной из первых. Но войну она всё равно ненавидит. Только иногда и полегчает будто, если удастся быстренько, благополучно доставить раненого до санитарного района. Только тогда чуток и полегчает. А третья батарея их артдивизиона одна из лучших в соединении. Комбат Коля, из архангельских, совсем молоденький, но это опять же с какой

точки на кого посмотреть. Если уж третья батарея заговорила по целям, фрицы враз забывают и про свой очередной эрзац-кофий, да и про весь фатерлянд.

– И вообще, – она усмешливо двинула плечиком. – Он только очень стеснительный, комбат Коля, особо когда осматриваешь его по «форме двадцать»*. Даже ругается. А вообще народ на батарее по-русски чистый, опрятный, ни животами не болеют, ни простуда их не касается.

А сегодня она в кои-то веки заночевала у девчат в санбате. Это же, чесслово, пионерский лагерь, да и только – тишина и благоухание, – восемь километров от передовой. Постелька на соломенном матрасе, прохладные простыни. Настоящий чай из самовара и к нему две карамельки «раковая шейка». Истинная фантазия! А посередине ночи переполох: какой-то заблудившийся дальноточный как ахнет метрах в ста от палатки. Началось такое – хоть кино снимай! Кто-то скомандовал: «По щелям!» Ещё одна потребовала: «Дневальный, прекрати безобразие, мне же в четыре на дежурство!»

– Воше, товарищ подполковник, тылы!

Я так и не понял, слушал ли командир всю эту девчужкину информацию. Может, и слушал вполуха, а сам, видно, думал о делах на переднем крае. Как раз этой ночью во время минирования погибли три наших сапёра.

Мы уже больше половины дороги одолели, и до Рейтвейна было рукой подать. И вдруг вокруг нас что-то как будто изменилось. Подполковник остановился, мы – рядышком. Слуха коснулся низкий подмивающий гуд с хмурого неба. Музыка знакомая – многомоторные «хейнкели». Какая ещё нелёгкая их несёт в такую противоположанную погоду? К тому же на плацдарме к концу марта почти каждый куст, каждая ложбинка были до предела начинены зенитным огнём.

Потому-то, кажется, даже сам сырой тоскливый воздух мгновенно загустел от взрывающегося шипящего металла, от перекрёстных светящихся трасс. А «хейнкели», как замороженные, хоть бы немного строй нарушили. Секунда, другая, зенитный огонь всё стервенел... Вдруг из-под всех трёх бомбардировщиков рванулось хвостатое оранжевое пламя.

– Ур-ра-а! Капут всем! – восторженно закричала девочка-санинструктор и вздела ручонки над головой.

Но подполковник только суховаато мельком глянул на неё.

Из-под «хейнкелей», с пылающими хвостами, вынырнули три крылатые тёмные машинки и на крутых виражах, видимо, управляемые по радио, с очень резким снижением пошли на наши армейские переправы.

Самолёты-снаряды! Вон чем вздумал удивить нас Гитлер у самого порога своего логова. В ту минуту я и думать позабыл о лавине зенитных осколков, которые всё яростнее низвергались с мокрого неба. У центральной переправы рвануло. Один раз. Мы напряжённо прислушались. Нет, всего один разок рвануло, а нырнули к реке три самолёта-снаряда. Не иначе подвела немцев своя чудо-техника. О «хейнкелях» же больше не думалось, то была уже забота зенитчиков.

– Старшина. Старшина!..

Гляжу, а командир мой как-то неловко, боком, опускается прямо на сырую тропинку. Скулы серые, а в глубоких строгих глазах истинно мальчишеское удивление. Санинструктор первая, потом я – к нему. Но он уже почувствовался, отмахнулся:

– Пустое, солдаты... Своим осколочком, видно, задело... Они же на излёте.

Но санинструктор решительно опустилась на колени и попыталась положить командира на спину.

– Разрешите, товарищ подполковник...

– Чего разрешите? – приподнялся тот. – Я же сказал: железка на излёте.

– Разрешите осмотреть.

Подполковник насупился:

– Русский язык понимаете?

Санинструктор тряхнула русой чёлочкой:

– Русским языком и говорю: лежите!

Нет, это был не командирский окрик, а просто что-то по-женски властное и в то же время дочернее, от чего ни душой, ни глазами никуда не денешься.

Мгновенно блеснули ножницы – и ватник, гимнастёрка, рубашка под ними распались, обнажив грудь повыше правого подреберья. Трекуче распечатались два индивидуальных пакета. Маленькие, обветренные, но чистые руки сноровисто делали своё неотложное дело, личико девушки было непроницаемо замкнутым, сухие губы сжаты почти в неприметную полоску.

На меня она только раз равнодушно зыркнула:

– Что столбом стал? Положи командиру сумку под голову.

* Осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Через самое малое время грудь командира туго перепоясали бинты. Санинструктор приподнялась, пощупала разрезы на одежде и сожалеюще причмокнула:

– Чинить придётся, товарищ подполковник. Не обессудьте, испугалась я... Ранение касательное. В санбате всё сделают за одну минуту. Извините, товарищ подполковник, старшина вам поможет, а мне разрешите следовать в своё подразделение?

Командир был уже на ногах и с любопытством рассматривал те же разрезы на своём обмундировании. Рассеянно кивнул:

– Идите.

– Счастливо, товарищ подполковник.

И санинструктор пошла лёгкой скользящей походочкой по извилистой тропке – меж фугасных воронок, через весенние мочажинки. Только тогда я снова глянул на своего командира. А он смотрел на далёкие Зееловские высоты, на хмурое небо над нами, глаза его были неподвижны, как на моментальной фотографии, и почти белые от ненависти. Слов у него, видно, никаких не было. Они, слова, должны были, не родившись, сгореть в этой яростной вспышке ненависти к войне, к смерти. Не против своей личной смерти. Могла ведь умереть посреди этой чужой земли и махонькая девчушка, уходившая сейчас от нас.

Командир переступил, кашлянул, глаза его ожили, и он окликнул санинструктора. Та мгновенно обернулась и молча, бегом, перепрыгивая мочажинки, приблизилась. Скоренько, коротко выдохнула:

– Вам плохо, товарищ подполковник?

Он глядел, глядел на неё, потом виновато спросил:

– Уважь, доченька, скажи, как зовут-величают?

Она не удивилась вопросу, только на секунду прижала кругленький подбородок к своему плечу, искоса глянула на командира из-под тонких бровок и почти шёпотом сообщила:

– Мамаля Нюсей кличет... Тятя, когда живой был, ещё до Сталинграда, Нюрой меня в письмах называл...

– Нюра...– Подполковник осторожно притянул её к себе за плечи. – Нюра, я, видно, ровесник твоего бати... Я поцелую тебя, Нюра...

И она стремительно подняла к нему навстречу свое лицо – такое чистое, звонкое.

А потом снова пошла по весенней военной тропке. Оглянулась раз, другой – и пошла быст-

рее, быстрее. Её ждала знаменитая третья батарея, которой командовал стеснительный молодой парень из Архангельска.

1970 г.

УТРО

Разведчик Матвеев был светловолосым русским парнем, с широкими жестами, которыми любил подчёркивать короткую и решительную речь. Голову носил высоко. Если стоял, то крепко стоял, обе ноги упирая в землю и как будто утверждая своё извечное право на неё. Коренастый, он был удивительно лёгок в походке и, как таёжный зверь, стремителен на удар.

Матвеев не говорил «я», он говорил: «мы только что из разведки» или «мы ночью давали трём гитлеряков». И даже соблюдая строго форму служебного рапорта о выполнении дела, порученного лично ему, он всегда умудрялся так построить доклад, что на первый план выдвигались его боевые помощники.

Отправляясь с вечера в расположение немцев, он обыкновенно говорил мимоходом другу-пулемётчику:

– Ну, Коля, мы пошли. Всего!

И уходил, как в цех или на пашню. Но разведчики знали, чего стоила ему эта простота. Прощупывался каждый шов, каждый рубец на одежде, поверялось десятки раз оружие.

– Чего это ты на пятку ступаешь так? – спросит Матвеев разведчика. Посмотрит и скажет укоризненно:

– Э-э, милый, чего же ты портянки не постирал?

– Так ведь время...– замнётся виновный.

– Скажи на милость, время! – усмеётся Матвеев. – Время... Знаешь пословицу: «Умирать, и то день терять»? А тут разговор о жизни. Понимаешь?..

– А понять-то этого человек до сих пор не желал, – рассказывает потом Матвеев пулемётчику Николаю Мартынову. – Не понимал, главное, того, что идёт в пекло, что его, можно сказать, весь народ на это дело посылает. Я, примерно, когда иду к гитлерякам, так не только карманы да портянки осматриваю, а в мыслях своих покопаюсь, чтоб не унести чего лишнего...

И вот с Матвеевым стряслась беда. Его принесли под утро. Положили в землянке на чистую простыню. Он молчал, плотно закрыв глаза, сжав губы, напрягаясь в борьбе с раздражающей болью. Три раны в грудь опрокинули парня.

Николай Мартынов держал горячую руку друга и боялся двинуться. Когда боль делалась совсем непереносимой, Матвеев сильно сжимал пальцы Мартынова и, открывая глаза, говорил шёпотом:

– Вот чёрт... катавасия.

А глаза у него были в это время удивительной глубины, в них билась и не находила исхода какая-то горячая, беспокойная мысль.

Ослабев, он потянул к себе Мартынова.

– Коля... – он трудно и быстро передохнул. – Коля, гитлеряки скоро в атаку двинут... передай...

Мартынов прижался к его щеке сухими губами и вышел. Увидел землю, какой она бывает ранним утром. Зачем же человек ясной и прямой жизни уходил из этого утра?

На восток без конца и края простиралась необъятная тёплая земля, и, откуда-то взявшись, может, родившись в сердце, над землёй и нежно-зелёным лесом медленно взмывал протяжный и торжественный звук. Словно пел кто-то и звал: «скорее, ско-рее!»

Но... в лесу удар. Столб земли в жёлтых острых полосах. Падают корневища. Шмелиный высвист над головой. Ещё удар, ещё два, и всё смешалось. С необычной поспешностью били десятки немецких орудий. Дыбилась под ударами и выворачивала парное чёрное нутро земля. От огня и железа желтели и никли травы.

Батальон молчал. Ещё какое-то короткое мгновение раздирает утро грохот, и стало тихо. Но от тишины этой сотни людей подались вперёд, сжали согретое в руках оружие.

Трескотня автоматов из лесочка. На поляну ошалело выскочили несколько сот солдат. Их встретили густым прицельным огнем. Немцы падали, на место их появлялись всё новые и новые. Вдруг замолчали пулемёты на левом фланге батальона. Это услышали и свои, и враги, не смотря на непрерывное полоскание залпов. Мартынов выдвинулся на бугорок и ударил во

фланг автоматчикам сразу двумя лентами. Но автоматчики уже успели накопиться в лощинке между первой и второй ротами. Оттуда раздался их торжествующий рёв.

– Ах так, ах так! – Мартынов жал на гашетку пулемёта и почти не слышал собственных выстрелов. Кто подавал ленту в приёмник, – он тоже не видел. Горело сердце от желания, чтоб та, тихая ещё час назад лощинка, где орут сейчас немцы, вздыбилась бы костями врагов.

– Ах, так... – он приподнялся и отпустил рукоятки затыльника.

Что это? Видят ли это глаза или...

И не один Мартынов смотрел в ту же сторону – жарким огнём вспыхнули сотни глаз. Минуту, две не было выстрелов со стороны батальона.

А он стоял на маленькой горке впереди окопов, опираясь рукой о молодую берёзу. Его как будто приподнимало солнечное утреннее тепло, и свет трепетал над ним синим, розовым, белым. Это продолжалось не минуту, прошло не короткое мгновение, а целая вечность, и, казалось, человеческие сердца не выдержат, а вспыхнут ярко и сгорят.

Матвеев выпрямился, поднял непокрытую голову. Стало ещё тише. И тогда в окопах услышали ясный голос:

– Ребятаки, родные! – звал Матвеев. – Двиньте вы их по зубам...

Шагнув, и, видимо, десятки смертей вошли в его тело. Он упал в двух шагах от берёзки, лицом к солнцу.

Тогда батальон поднялся. Встали роты, колыхнув молчаливыми жалами штыков. От шага надсадно ухнуло в округе. Вот уже недвижимое тело Матвеева осталось позади, смяли немцев во фланге и будто не заметили. Роты рванулись на первую, а потом на вторую вражескую линию. И не было ни одного возгласа, ни одного выстрела. Убивали и умирали молча.

1942 г.

